

Мы должны понять, что в духовном, да и в физическом смысле — мы полумертвецы: и нам нужно осознать этот «факт»; и тогда мы обретем замысел, найдем дело, задачу; и найдется сила, пафос для исполнения этой задачи; но только — ничего слишком нового, ничего — слишком! Иначе распадемся на составные части.

Юрий Иваск.

Печеры, 1938 г.

К смерти или к славе ?

Читатели «Нового Града», вероятно, удивлены — а, может быть, и возмущены, — прочитав статью Ю. Иваска. Действительно, трудно придумать что-нибудь более чуждое нашему духу, чем эта философия реакции, воспитанная на К. Леонтьеве, но оставляющая и его далеко за собой. И Ничше, и К. Леонтьев, и Шпенглер для Иваска все еще слишком оптимисты. Ничше верил в обновление варварством, Леонтьев защищал консерватизм во имя жизни: богатой, прекрасной, хотя и жестокой жизни. Иваск впереди не видит ничего, кроме смерти, и смерть призывает. Кажется, никогда еще дух реакции не выговорил себя до конца с такой откровенностью. Может-быть, Победоносцев таил про себя такие думы. Но и у Победоносцева была вера.

Зачем же тогда «Новый Град» принял его статью? По многим основаниям, из которых главное — необходимость ответа. Такую статью нельзя просто бросить в редакционную корзину или отослать автору. Необходимо ответить по существу. Редко представляется возможность говорить о главном. Главное кажется решенным раз на всегда, и публицисту остается разрабатывать детали. Но время от времени необходим полный пересмотр позиций — генеральная чистка дома.

Мне не раз приходилось жаловаться на то, что скудость реакционной мысли в эмиграции является несчастьем для русской культуры: реакция вся уже выговорила себя в XIX веке. Но вот, оказывается, не вся. Мысль Лентьева продолжается творчески и требует ответа.

Второе основание для дружеской беседы с противником — скорее морального порядка. Поскольку в статье Ю. Иваска просвечивают внутренние, определяющие мотивы его мирозерцания, они вызывают наше сочувствие. Тут говорит не эстетический снобизм с его «*odi profanum vulgus*». Тут и не озлобленность потрясенного революцией буржуа. Потрясённость его более благородного порядка. Зрелище торжествующей черни и ее демагогов, топчущих драгоценное наследие гуманистической культуры — вот что приводит Ю. Иваска в отчаяние. О чистоте его духовного зрения свидетельствует уже то, что он не делает различия в своем отталкивании между коммунизмом и фашизмом: оба одинаково несут смерть его святыням. Эти святыни — не знаю, впрочем, точно ли те же — дороги и нам. Мы вместе с ним исполнены острой тревогой за судьбу любимой нами Европы и ее древнего, антично-христианского гуманизма. В отличие от Ю. Иваска, мы не потеряли веру в будущее. Тем больше оснований протянуть ему братскую руку и напомнить о надежде. Он еще молод.

Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты,

и не раз юноша повернет, как трубку калейдоскопа, свое видение мира, пока оно не придется окончательно по мерке, по его духовному росту и складу.

*
**

Начнем с вопроса «частного», но для нас довольно остро: ибо дело идет о нашем историческом существовании. Правда ли, что европейская культура умерла, или умирает, и нуждается только в погребении? Если умирает, то

отчего: от перехода ли в демократическую цивилизацию и всеобщего поравнения, как думает Ю. Иваск вслед за своими, очень авторитетными, предшественниками?

Я не отрицаю тяжелой болезни нашей культуры и возможности ее смертного исхода. Но я расхожусь в диагнозе и, следовательно, в выводах.

Да, действительно, процесс культурной демократизации, когда он протекает столь стремительно, как в наши дни, — несет с собой тяжелые последствия: варваризацию (дурную), упрощение, нивелировку. Все это верно было подмечено еще в глубине XIX века — одним из первых Ницше (и Леонтьевым). Но этот процесс мне представляется вторичным, лишь осложняющим. С ним можно справиться, как с процессом роста. Всегда мыслимо создание новой элиты в самом демократическом обществе, которая поднимет достоинство культуры.

Замечательно, что, ведь, главные удары по гуманизму наносятся не массами, а изменниками из рядов самой утонченной элиты. Для меня это прежде всего: Маркс, Ницше, Пикассо, Стравинский. Так бл. Августин предавал Платона («pecus mortuum») среди обступающего моря варварства. Да, ведь, и гитлеровское движение не из рабочих масс идет, а скорее из университетов. Во всяком случае, философская подготовка его — дело далеко не последнее и для немецкой культуры более позорное, чем современная пляска людоседов.

Не легко сказать, в чем основной недуг Европы. Но, если надо обобщать множество болезненных процессов, то я скажу: в разрыве духовного единства, в потере стиля — нравственного, художественного, социального. Великолепная культура эта грозит распасться на куски, взорваться и сгореть в мировом пожаре. Но эта огненная смерть ничуть не похожа на медленное умирание дряхлеющих культур: Египта, Рима, Византии. Ю. Иваск загнипотизирован схемами Шпенглера. Трудно не поддаться этому историческому чародею. Но надо уметь и преодолевать его. Его схема в основе своей биологична. Она предполагает вечное круговращение: культуры подобны растениям, пере-

живающим свои фазы роста и увядания. Остережемся принимать его построение на веру. Взглянем непредубежденными глазами на то, что делается вокруг нас и сравним с единственным известным нам в опыте процессом умирания культуры от дряхлости: с падением античного мира.

Древняя Греция уже в V-IV в.в. до Р. Х. выработала основные формы своей мысли и своего видения мира. Стиль, сложившийся в эпоху Перикла, в сущности держался и при Константине: 700 лет! Последние греческие и римские поэты не устают подражать Гомеру и первым лирикам: Алкею, Сапфо... Еще поразительнее неподвижность Египта, который уже в древнем царстве, за 3000 лет до Р. Х., сложился окончательно, чтобы жить, сохраняя свой стиль, до птолемеевского времени: 3000 лет! Кажется, что у Ю. Иваска зрелище такой верности и постоянства вызывает почти религиозное благоговение. Но почему? Не потому ли, что оно так непохоже на нашу современность, раздираемую противоречиями? Где он, тот стиль, которому верность можно хранить, последний стиль христианской Европы? Стиль Ренессанса владел ею дольше других: в искусстве и науке он держится — это Рафаэль и Леонардо — около 400 лет. Им, его обрывками и лоскутьями и сейчас живут еще массы, приобщающиеся к культуре. Но этот стиль не то, что себя исчерпал, — он доказал свою неадекватность христианской душе Европы. С самого начала он был полуязыческой маской, скорее искажившей, чем выразившей европейское лицо. Из глубины веков вставляли великие образы средневековья, но мятущиеся, — стили, но разные. Куда возвращаться? Что консервировать?

Если сстаться с Россией, тут та же драма. Последние 200 лет — непрерывная революция духа, создавшая самое великое в нашем наследии. За ней, в прошлом, как будто бы единство стиля, но почти без культуры, или в таких примитивных формах ее, в которых уже невозможно жить.

Более, чем когда-либо, Европа бьется в поисках нового стиля — не из пустой страсти к новизне, не из легкомысленного омолаживания, а просто потому, что никакого старого стиля нет, а без стиля ей не жить. Как бы ни

оценивать современное искусство и его формы (я больше страдаю от него, чем радуюсь ему), нельзя ни в коем случае жаловаться на скудость творческих сил. Точнее, энергий. Поразительно, чудовищно расточение этих творческих семян в наше время. Оно подобно рассеиванию цветочной пыли в пространстве, — хотя я первый готов признать неудачу, бесплодие. Но эта неудача происходит не из отсутствия творческих сил, а из отсутствия единства в личности творца, единства в его традиции, в его ремесле. Если каждый художник должен заново создавать свой мир из ничего, понятно, что эта задача не по плечу — даже Шекспирам. Не построить свой мир, а разрушить мир данный — Богом, традицией — вот высшее честолюбие мастера наших дней. А сил хоть отбавляй! Сейчас, например, английская литература переживает расцвет, которому равного, может-быть, не знала со времен Елизаветы. Если рассматривать только мастерство, только зрение и выразительную способность таких писателей, как Сири или Вирджиния Вульф, то они могут сравняться с самыми большими мастерами прошлого. Да, наконец, это прошлое — великое и классическое — от нас так близко. Ведь, дети Толстого еще живы. По хронологическим схемам Шпенглера мы должны бы жить еще в Перикловом веке. Но, и отбросив эти схемы, возможно ли, чтобы культура, которая еще вчера, в прошлом поколении, давала величайших своих мастеров, вдруг состарилась, в одну ночь? Не старость это, а безумный кутеж и сопровождающее его похмелье. Или серьезнее: Европа еще так молода, что похожа на юношу, который прижимает к виску пистолет, потому что потерял веру в Бога.

Наконец, оглядываясь вокруг, в Европе XX века, мы тщетно ищем этих последних римлян, разочарованных мудрецов, мечтающих о покое и досуге. Конец XIX века «fin de siècle», дал нам нескольких декадентов типа Анатоля Франса. С тех пор мы что-то их не встречаем. Скептицизм оказался не более, чем гримасой, легкой усталостью между двух трудовых и боевых дней. Европа «омоложается». Но это делают не одни коммунисты и фашисты.

Выход на улицу, для строительства Нового Града — это общее явление. Христиане, католики, вчерашние аристократы-академики, замкнувшиеся в своих *tours d'ivoire*, все спешат в бой. — Очень дурно, говорите вы вместе с Жюльеном Бенда и со Стефаном Георге. Я не оцениваю, я указываю. Разве это не говорит скорее об избытке сил, хотя бы душевных, если не духовных, чем о их оскудении? Когда умирал Рим, Авзоний и Сидоний Апполинарий пальцем не пошевельнули, чтобы спасти его. Уход в монастырь был единственным исходом для сильных; для людей второго сорта оставались упражнения в версификации, успокаивающие нервы.

Но это пустое, не творческое волнение, говорите вы. Оно не создает великого. Но почему? По бессилию ли или по необъятной трудности задачи: собрать распавшийся на части мир? Во-всяком случае, в любом из неудачных, обреченных созданий сегодняшнего дня больше жизни, чем в целых веках доживающих себя цивилизаций.

Безвкусие? — но как раз оно и говорит о неисчерпанности жизни. Ибо безвкусие происходит от утраты стиля и предполагает поиски его, борьбу за стиль. Лишь самодовлеющее совершенство, изящное и мудрое, эпигонство (к которому вы призываете) означало бы действительно *facies hyppocratica*. Но я нигде его не вижу.

Само собою встает вопрос: а может-быть, это чувство конца, исчерпанности, безнадежности вытекает не из опыта Европы, а из опыта России? Да, наша культура неизмеримо более хрупка, тонка, и перспективы не из вельных. Есть от чего сломаться, возжаждать смерти. К тому же, ведь, мы, действительно, стары, не чета Европе: наследие Византии не проходит даром. Ее яд мы несем в крови, а за Византией, в глубине веков, встают все древние царства Востока, ее вскормившие: Персия, Вавилон, шумерийские сумерки. Да, если шумерийские заговоры и приметы живут до сих пор в русском фольклоре, то и шумерийское священное царство доживало в русском самодержавии. И вот, при всей нашей славянско-финской молодости, эта тяжелая восточная кровь порой нас разла-

гает. Мы не стойки в нашей культурной работе. Мы дезертиры по природе. Мы только и ищем предлога, чтобы удрать с своего поста. Для одних спасительным сигналом к бегству является пришествие Антихриста (паразителен успех Соловьевской легенды!), для других приговор над «изжившей» себя культурой. Русский Обломов еще 100 лет тому назад с жадностью внимал этим слухам, дававшим ему право на незаслуженный отдых от несовершенных трудов. Надо остерегаться этой иллюзии и не принимать своей дурной (но победимой) наследственности за норму человеческой жизни.

*
**

Теперь о памятнике. Если бы мы согласились на минуту с Ю. Иваском в обреченности Европы и в преступности творческих усилий, какому делу можно посвятить остаток еще не изжитых сил? Он предлагает — в 60 лет — построить нетленный памятник великому покойнику, по типу иных памятников истории: Александрийской библиотеки, византийского ритуала, китайской азбуки. Вдумаемся в это предложение. Ни то, ни другое, ни третье не создавалось в финале под опускаемый занавес. Все это рождалось или в творческом зените или даже в юности культуры. Но можно спросить себя, неужели это — т.-е. библиотека, ритуал, азбука — и есть подлинный памятник греческой, византийской, китайской культуры? Оставим Китай и Византию для любителей: тут о вкусах не спорят, т.-е. именно спорят: для одних живопись, для других философия, для третьих азбука. Но кто серьезно согласится с тем, что Греция жива в веках Александрийской библиотекой?

Библиотека эта давно не существует. Каковы бы ни были ее культурные заслуги, не ей одной мы обязаны тем, что до нас дошел Гомер или трагики. И уж, конечно, не ей — сохранением греческого искусства. В конце концов, от Греции остались «на век» десяток книг, созданных в юности. От нас останутся тоже... не знаю, кого назвать: Шекспир, Паскаль, Толстой..., а не то, что успеют создать

последние шлифовщики и стилисты. Авзонии ничего не прибавят к римской славе. Нечего просить отсрочки смертного приговора, чтобы в последний раз привести в порядок навсегда покидаемый дом: составить инвентарь все равно подлежащего расхищению добра.

Мне кажется, что в этом желании еще помедлить перед смертью на родном пепелище говорит малодушие. И когда Аника-воин перестанет торговаться со смертью: один день, один час, одну минуточку? Как будто достойнее оторваться от кубка жизни, пока он не допит до дна, до горького осадка. Вот почему те римляне V века, которые шли в монастырь, достойнее тех, кто играл в акrostихи:

En composant des acrostiches indolents
D'un style d'or où la langueur du soleil danse...

Не говорю уже о том, что в монастырях и пустынях собирались те огромные духовные силы, которых хватило и на воспитание варваров и на строительство новой, еще более грандиозной культуры.

Отсюда как будто бы следует: что в предсмертные годы и дни не стоит заниматься пустяками, а нужно жить самым главным. И если нет его, этого главного, то не уставать искать. Августин нашел, ведь, и для себя и для всего будущего «Запада», как раз в последние дни Рима.

*
**

Я хотел бы поставить тут совершенно вводный вопрос: кто и когда доказал, что все культуры смертны? Перестав верить в закон прогресса, мы в настоящее время легко делаемся добычей всякой шпенглеряны. Биологический взгляд на культуры обрекает их на умирание. «Все, что возникает, стоит того, чтобы погибнуть». — Все ли? Нет ли исключений?

Я согласился бы на допущение смерти всех культур — кроме одной (если мы допустим существование такой культуры): культуры христианской.

Всякая культура умирает, исчерпав свою творческую гему и найдя свой навсегда завершающий стиль. Но какая творческая тема культуры христианской? — Быть образом Царства Божия на земле. Не символом — сакральным, ритуальным, а образом движущим, реально приближающимся и никогда не достигающим — чего? небесного совершенства Отца. Слишком высокий идеал задан христианскому обществу, чтобы оно могло его когда-нибудь осуществить. И потому ему не угрожает смерть от истощения, от пресыщения. Конечно, мы видели гибель христианских цивилизаций: Рима, Византии, других. Но, может быть, их смерть явилась карой за измену реальному динамизму христианского идеала. Римское и греческое царство слишком легко успокоились на символическом освящении. Или, быть может, вообще не приняли для себя (для политического общежития) христианского идеала, застыв в язычестве. Погиб не христианский Рим, а Рим языческий, как это видел Августин. Что толку было в христианском (впрочем, полужаическом) ритуале, когда ничто (в общественных отношениях) не сдвинулось с места?

Я хочу сказать: гибли и будут гибнуть христианские культуры. Но всякий раз должны быть особые причины их гибели. Это грех, а не рок. Христос отменяет рок и дает нам свободу. И свобода во Христе означает бесконечные возможности, бесконечную силу. Социальная природа не подвластна физическим законам тления. Она отражает в себе не законы, а события духовного бытия. Есть, бесспорно, социальные закономерности. Но они торжествуют лишь благодаря слабости духовных энергий. Социология есть лишь феноменология греха — или косности, что одно и то же.

Но всегда, на дне всякого падения и на ложе всякого сна возможно пробуждение, потрясение, пророческий голос, зовущий в путь. Поразительна способность христианских возрождений, которые поднимали Церковь из ее современного усыпления: реформация, романтизм, наши дни.

И, наконец, даже если силы греховной инерции одо-

леют, и одно христианское общество (Византия, Рим) погибнет, чтобы дать место другому, связь не порвется, живая, священная связь традиции, несравненно более могущественная в Церкви, чем та всеобщая связь, которая единит все мнимо-изолированные культуры мира. Византия живет в православной литургии, в русских святых и иконах. Это не чужое нам, а свое. Как и древний христианский Рим. И поэтому, поскольку нет религиозного прерыва, измены (как в потуречившейся Сирии или Египте), нет и настоящей культурной смерти. А катастрофы, конечно, тяжки, для нас, переживающих их, — но оне лишены трагической безысходности.

*
**

Если я прав, что наша культура погибает не от скудости, а от чрезмерного богатства неорганизованных, разрушающих ее сил, то вся культурная и политическая установка становится иною. Не хранить и консервировать (что?), а стараться организовать хаос, побеждать смерть — во имя жизни. Организовать хаос можно лишь вокруг великой Идеи, которая указала бы всем вырвавшимся на свободу энергиям их русла. Если этой Идеи нет, ее надо искать. В терминах эстетических, близких Леонтьеву и Шпенглеру, если нет стиля, надо его создать. Это единственное условие, единственная возможность жизни. Но за то уже тогда не на 60 лет, а, может быть, на тысячу. Эта борьба за Идею или за стиль требует величайшего творческого напряжения — и, конечно, является в духовном смысле, революционной, ибо предполагает устремленность к неизвестному. Менее, чем кто-либо, мы, новгородцы, отказываемся от традиций. Мы готовы искать где-угодно в прошлом материалы, которые могут пригодиться для постройки. Но мы не забываем, что это лишь материалы. Прошлое не может дать нам стиля, который создается лишь из творческого усилия. Говорят, что Микель Анджело был создателем барокко. Столетия могли жить формами, созданными им, за счет его титанического напряжения. Так мы все еще живем Пушкиным, дышим им, не

замечая его, как воздухом. Можем ли мы надеяться на рождение Пушкина или Микель Анджело вь наши дни? Почему нет? Может-быть, гении все еще появляются на нашей земле (я едва удерживаюсь от искушения называть имена), но они сами себя разлагают и убивают безверием. Но рождение, веры есть чудо. Чудо благодати и свободы. В том, что касается свободы (мы не августинисты), мы несем обязанность — искания, усилий, борьбы. Это установка прямо противоположная Ю. Иваску. «Борьба за Логос». То-есть не за вечный, уже открывшийся нам Логос, а за Логос нашей культуры, за ее смысл, за очередной исторический ее смысл. И, если наши усилия будут чисты, наши искания самоотверженны, почему не надеяться на чудо, которое, ведь, и составляет тайну истории, тайну всякой духовной жизни? Чудо — всякая жизнь, закономерна лишь смерть. Мысль, отдавшаяся в плен закономерности, подчиняется смерти. Или, может быть, потому и пленяется закономерностью, что уже возжадала смерти?

*
**

Статья Ю. Иваска кончается почти криком отчаяния. «Бог, в которого не верим, но которого хотим!». Это многое объясняет. Может-быть, эта жажда веры и вместе с тем невозможность ее и вызывает ощущение смерти? Вся культурная и общественная борьба кажется бессмысленной, да она на самом деле бессмысленна, если нет Бога. Тогда дело не в бессилии нашего поколения. — Ю. Иваск чувствует и в себе и в культуре еще не растратенное богатство сил, — а в бесплодности и тщетности усилий. И здесь нет места легким утешениям. Человека, который сказал о Боге то, что сказал Ю. Иваск (если он сказал это серьезно) не прельстишь никакими культурными достижениями. Позволительно лишь прибавить, что такого человека не удовлетворит и работа над памятником. Менее всего, над памятником. Дайте ему покой, досуг и австрийский мир, и он затоскует в своих александрийских библиотеках. Даже в византийском ритуале. Что проку в литургии-

ческой красоте без Бога? Насколько честнее откровенное безобразие!

«В которого не верим, но которого чтим». Эта формула состоит из двух частей, и, если вторая столь же серьезна, полновесна, как и первая, то безнадежность уже снимается. Как? Этого мы знать не можем. Но мы слышали *vox clamantis*. И тогда все меняется. В сущности, если начать с этой формулы, а не кончать ею, то статья Ю. Иваска не могла бы быть написана. Ибо хотеть Бога — значит хотеть жизни, а не смерти. В огне этого хотения сгорает вся музейно-кладбищенская красота, соблазнительная для А. Франсов, для мертвецов. Конечно, мертвец, или полумертвец, не оживет от сознания, что он мертвец. И сам не воскресит себя. Лишь Один, воскресший Мертвец — «Первенец мертвых» — воскрешает.

Г. Федотов.
